

СЕРГЕЙ БОНДАРИН
СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1941 г.*
ИЗ ПЕРВЫХ ВОЕННЫХ ЗАПИСЕЙ

От автора

Сумка от противогаза всегда бывала хорошим фронтовым товарищем. Чаще всего эта брезентовая сумка наполнялась записными книжками. Нередко вставал вопрос: лишняя банка консервов или пачка книжечек-тетрадок? Вопрос всегда решался в пользу маленьких, тщательно пронумерованных книжек. Записные книжки да письма от близких — ничего не было более ценного, незаменимого. В море на корабле, в десантной операции, на переднем крае под Севастополем, в окопе под Одессой или под Новороссийском — всегда хотелось иметь при себе весь комплект, все, что ты успел записать. Это представлялось таким важным! Эта верность имела, впрочем, и слабую сторону. Случалось и так, что нарастающие осложнения боевой обстановки заставляли прежде всего подумать: что делать с драгоценным багажом? Очень трудный вопрос. Поторопиться — потом не простишь себе. Пропустишь какое-то мгновение — произойдет несчастье.

Помню, однажды под Ростовом-на-Дону наш катер ночью заблудился в ериках-про-токах. Часть дельты была у врага. И вот, в самом деле, мы уже слышим окрики с берега. Стрельба. Пули разносят в щепки борта, мотор того и гляди заглухнет. И сейчас вспоминаешь то состояние — и тебя пробирает холод... Но вот мотор заработал веселее, катер дал ход — ушли.

О, как радостно — в который раз — заново перечитать маленькие книжечки. Несомненное и незаменимое сокровище! Ведь случалось и так, что чернила на этих страничках в буквальном смысле смешивались с кровью. И несмотря ни на что, писатель на фронте по справедливости видел в этом накоплении свое назначение в бою и свое будущее — за столом...

И вот книжечки в клеенчатых переплетах опять передо мной. Что выбрать? Вопрос радостный и трудный, не менее трудный, чем иные минуты на фронте...

Пожалуй, выберем эти страницы: «Севастополь в августе 1941 г.»

1965

Севастополь. 18 августа.

Утром политрук Танцюра разбудил нас «жизнерадостным» сообщением: — Оставили Кривой Рог и Николаев.

Никакого чувства. Этот товарищ из тех, для кого слова — действительность. Для него нет ни факта, ни мысли, есть только словесные формулы, к которым он привык, которые облегчают его жизнь, оставаясь неизблемыми. Преданность этому миру догмы заменяет истинную жизнедеятельность. А вообще он скромный, неплохой парень, очень опрятный, с юношеским взглядом добрых глаз, с чистым румянцем во всю щеку.

* С. А. Бондарин с июня 1941 г. по февраль 1944 г. находился на военной службе в качестве писателя при Политуправлении Черноморского флота.

Хуже другой дядя, артист Большого театра Е., задержавшийся с отъездом. Он с утра приходит к нам, в музей Севастопольской обороны, и кричит:

— Что же, туда вас и туда, орали: «Красная армия всех сильнее», «Мы будем воевать только на чужой территории», а сами воевать не умеете, и я не могу проехать поездом к себе домой, на каждой станции меня могут обстрелять.

Это не то же самое, что сквозит в вопросах краснофлотцев:

— Как же так? Говорили одно, а на деле выходит другое? Почему?

Трудно ответить не только краснофлотцам, но и этому циничному сволочному тенору.

В городе заметна какая-то разнузданность: много пьяных, у шпаны развязались языки. А на скамеечке сидели три девочки и говорили о том, что они пойдут в партизаны.

— Так ты же не устоишь на ногах, — со смехом говорила одна другой, — упадешь, когда начнут стрелять. Ты же никогда сама не стреляла.

Подруги серьезно задумались.

Молодой Луначарский летал в Москву. Прилетел обратно с женою, она беременная. Встретил их, когда Толя устраивал жену на переднем месте в грузовике, отходящем в Керчь с женщинами и детьми. Он ее очень любит. «Леля замечательная, мужественная женщина, — говорит он о ней. — Выйти живым из этой кровавой игры, значит, быть очень счастливым. Подумайте, какое в самом деле это будет счастье. Вы видите его?»

Сейчас Толя прикомандирован к англичанам, прибывшим на флот. (Они устанавливают на кораблях противоминное оборудование.) На вещи смотрит оптимистично, о ходе войны говорит так:

— Перед тем, чтобы стало хорошо, всегда бывает очень плохо.

Когда же, когда же повеет переменами? Будем ли мы так счастливы, как это мерещится живому вдумчивому Толе Луначарскому? Просто найдем ли друг друга после войны?

В Москве Луначарский видел кое-какие разрушения: нет аптеки на развилке Поварской и Мерзляковского. Кремль камуфлирован: иллюзия отдельных домиков.

— Немцы взяли какой-то маленький городок на севере, — беззаботно сказал один из командиров в столовой. И ясно, что эта «беззаботность» не от силы духа, а от слабости мозгов. Маленький городок на севере — это Кингисепп, ворота к Ленинграду.

— Это еще не опасно, — заявляет другой, с трудом разбираясь в карте.

Может быть, я недостаточно благоразумен, недостаточно тверд, не следует вести таких разговоров, после которых и мне и моему партнеру, товарищу Емельянову, коммунисту, неловко смотреть друг другу в глаза.

Страшно, однако, чувствовать в самом себе, как иногда гложут, роют мысль, идея, чувство. А ведь не хочет гибнуть все то, что внушила нам революция, с первых же лет своего существования.

Надо смывать запахи домашней, комнатной жизни.

Нет на войне другого поведения, как только поведения примерного: сообща, методично, не теряясь, зная правоту своего дела, и отступая и наступая, но всегда борясь, исправлять несчастья, которые каждому из нас причиняет война, каждому из нас и всем вместе. Не можем мы оставаться с несчастьем.

Залпы рычали, им вторило отрывистое эхо над морем. Батареи рычали деловито. Деловитость придавалась пушечному реву настойчивостью, даже веселостью, с какою они делали свое дело.

У убитого краснофлотца нашли записку: «Если что, считайте меня коммунистом».

В Одессе спрашивают:

— Ну, как на Большой земле?

— Замечательно: Марусю подхватил кренделем — и пошел пылить.

— Ну, это и у нас можно.

— Стоишь под огнем на мостике, внутри все заморозилось, а под мышками, слышишь, течет что-то теплое.

Краснофлотец на батарее говорит:

— Нужно воевать усердно, внимательно. Я замечаю, что за время войны можно сделать людей лучшими. А что это такое? Всем нужно победить фашистскую Германию, а нашему комендору нужно, чтобы я извинился перед ним... Кто из нас прав?

— Стоять у пушки — надо знать все ее капризы.

Рассказ Корниенко:

— Дело так и было: оттянули войска под Киев и, когда там их отбросили, они всей массой парашнулись сюда, и тут — кто куда: против четырех оказался один. Пехоту прорвало, как кисею. Все случилось так быстро, что не успели что-нибудь сделать с моря. Вот и говорят: «Пехота подвела». А что же на самом деле? На самом деле подводят плохая организация и плохой транспорт. Сказывается и то, что не успели перевооружить пехоту автоматическим оружием. Немцы массированным огнем, мотором и броней прокладывают себе дорогу. Они действуют беспощадно и в отношении своих и в отношении противника. Мы же, ей-богу, ведем войну слишком гуманно, гуманистически. Они не дрогнут послать на верную смерть тысячу парашютистов и потом с лихвой окупают жертву. Мы же никак не решаемся на это, все еще не понимаем, что не только идея идет против идеи, а железо, сила, решимость и наконец опыт, грандиозный военный опыт, закалка, обстрелянность.

Вот Корниенко, полковой комиссар, говорит в сущности то же самое, что говорил народ веками: «На бога надейся, а сам не плошай». Идут на нас не спорщики, а автоматчики.

Вероятно, в сфере воинского воспитания новая идеология больше, чем в какой-либо другой области, требует новой мысли. В самом деле: чем заменяются прежние основы — торжество над врагом, завоевание, покорение? Воинская честь народа, нации только начинает воспитываться на какой-то новой основе. Что должен знать солдат, носитель воинской чести народа? «Велокросс», «мотокросс», а стрелять не умеет, велосипеда не имеет. Не получился ни солдат, ни эллин.

— Постойте у громкоговорителя — еще не то услышите — услышите в толпе такое, что похолодеете.

Приезжал Константин Симонов. Говорят, поседел. В начале войны он был на Смоленском фронте. Всё о том же: неумелое, робкое или попросту трусливое руководство. Легко отдают то, что можно свободно защищать. Гипноз угрозы окружения. Безудержное «выравнивание фронта».

С. А. БОНДАРИН

Фотография. Севастополь, июль 1941 г.

Собрание С. А. Бондарина, Москва



Краснофлотцы иронизируют по поводу того, что в газетах отступление подается чуть ли не как победа.

Симонов рассказывал, что у немцев тоже есть на фронте писатели. У него у самого задача сложная — проехать вдоль по всему фронту — от Черного до Баренцова морей.

Вечером было совещание у бригадного комиссара. Узнав, что «Красный черноморец» рассылает людей по разным местам, предложил «не очень разбрасываться. Все может случиться». Всем держаться в куче, чтобы кучей отступать? Когда же, где, с чего начнется сопротивление? Скоро третий месяц.

На батарее, обойденной восторженной корреспонденцией, обижаются: о соседях, дескать, написали, что там герои, а о нас не пишут. А все героичество комендора с соседней батареи то же, что и тут: вовремя, по сигналу ревуна дает выстрел.

Приехали с Дуная Александр Ромм и Лагин — в сапогах, в черных шинелях, невымытые, небритые, и не очень торопятся побриться — так интересней. Согласен: очень интересно смотреть на них. Волнует всё, и то, что они ходят при кобурах, и все то, что они рассказывают. Попадали под обстрел. Однажды ночью на одном переходе заблудились. Подводчик заснул, и часть обоза пошла за ним, вернее, за его лошадью. Скоро увидели пламя пожара. Встревожились: что за пожар? Догадались, что горит ими же подожженный хутор, значит, шли обратно, в плен к румынам.

Колхозники боятся расправы, женщины плачут. Немало дезертиров из местных жителей, недавно мобилизованных. Двоих расстреляли перед фронтом.

Комиссар тов. Трошин — из того отряда, в котором героически погиб старшина Щербаха. Это был случай плохо организованной операции по десанту. Должны были пойти три катера. Первый ушел, а когда вслед

за ним подошли за десантом два других, войск для десанта на берегу не оказалось. Катера попали под обстрел. Когда катер Щербахи вернулся к нашему берегу, нога старшины держалась буквально на ниточке, но он не оставил руля.

Начало третьего месяца.

Сильнейшая буря. Гроза. Ливень. Посмывало и посрывало все, что может быть смыто и сорвано, — и вывески, и затемненные оконные рамы, и трубы, и даже рельсы. У нас, в музее Севастопольской обороны, разбило стекла, нас, еще спящих, облило ливнем, забрызгало все помещение, все сбросило и сорвало ветром.

Ленинград. Сводки с Ленинградского фронта воспринимаются как призывы по радио: SOS! SOS!!! Что же там? Как там будет? Неужели они войдут в этот город? Никогда ни один враг еще не ступал по его проспектам и мостам. А пролетариат? Вот, где начинается резко социальная война — пролетариат против армии, социализм против фашизма. А флот — куда податься ему? Несчастный русский флот! Неужели и там увидят горящие и рушащиеся заводы и верфи, обломки недостроенных линкоров и крейсеров, как это было в Николаеве? Не там ли решается вопрос: способны ли мы победить? Если там не сможем, тогда где же?

— Все равно наша жизнь дала трещину.

— Все относительно, — отвечает лейтенант со вспомогательного крейсера «Кубань». Они стояли в Одесском порту. Было до тридцати воздушных атак. — Все относительно, — повторяет он. — Вы говорите трещина, а вот мы, прийдя в Севастополь, опять как-то коснулись жизни, а там... грянет взрыв, тебя бросит на палубу и под головой черно от земли и камней, брошенных с пирса. Куда уйдешь? — лейтенант махнул рукой. — Но Одессу надеемся не отдать и мечтаем и в трещине остаться живыми.

Когда они уходили из Одессы (20-го или 21-го), фронт был в тридцати километрах. Идут массой, «как мы в Финляндии». Буг покрыт мертвыми телами. Берут техникой. Много самолетов. Бомбят почти безнаказанно с больших высот. На «Коминтерне» тридцать убитых и человек восемьдесят раненых. Моряки дерутся храбро и стойко. С кораблей видно продвижение наших частей, везут боеприпасы, отвозят раненых. Можно видеть огонь артиллерии.

Дорогие одесские степи! Самое настало время. Виноградники и бахчи налились соком. Все пахнет.

В городе пустынно, с продовольствием не плохо. Пролетариат дерется в рядах ополчения.

К славе русского штыка присоединяется слава русского авиатарана. Начатое великим героем Гастелло повторяется ежедневно.

В московских церквах, говорят, служат молебны о даровании победы русскому воинству.

Воевать, это и значит прежде всего быть готовым идти на смерть.

После разговора с Кремневым, предложившим мне направиться в Одессу, в бригаду морской пехоты, какая-то девка встретила меня у каменного севастопольского трапа романсом: «Ты уходишь, чтобы больше не вернуться»...

Случилось именно то, чего опасались: оружие потеряно, генералов нет. Столько лет лишений и ожиданий, и вот уже нет ни Днепростроя, ни тан-

ков. Как же это случилось? Вот так и случилось. <...> А может, так и должно быть? В такой тяжелой борьбе должен же быть кризис. Кризис не бывает с первого дня.

Толя Луначарский повторяет:

— Одно лишь представление, что войны уже нет — дает такое счастье, которого хватает надолго.

— Как так войны уже нет?

— Ну, это якобы нет. Воображение. Отбросьте всё — и воображайте. А как тут отбросишь? Нет, в моем возрасте воевать трудно. Толе легче.

Письма от Жени. Это, кажется, первое, что разогрело душу. А вдобавок зашел на «Большой вальс» — совсем расстроился. До слезы. Какое счастье — мир и жизнь.

Как похожи письма наших жен одно на другое, хотя каждая из них пишет о своем. Все те же попытки шутить, все то же чувство растерянности, тот же трепет боязни и за себя и за тебя. А война, как волна за волной на море, бьет и бьет. Кажется, вот следующая будет ласковее, а она ударяет тебя так же неумолимо и жестоко, как и предыдущая. И нет возможности, нет власти успокоить волны.

Шел по улице во время воздушной тревоги. У ворот одного дома шалил какой-то мальчик. Женщина пригрозила ему:

— Отдам тебя немцам.

На другом крыльце другой мальчик, испуганный выстрелами, плакал. Мать успокаивала его:

— Мы же здесь живем, это же наш дом, мы же всегда здесь, посмотри вокруг: это же все не чужое — наше.

А немцы подбираются.

29 августа.

Танцюра жизнерадостно сообщил о том, что нами оставлен Днепр-петровск.

Рассказывают, как было под Николаевом:

15-го числа, после того, как Буг был форсирован, германские части появились под городом с северо-востока.

В ночь на 16-е взорвали заводы, доки, верфи, суда, загорелся вокзал. Главная Советская улица лежала в развалинах.

Всюду горели склады и железнодорожные составы.

Ночь наступила страшная. По городу била артиллерия. Взрыв заводов предрешал судьбу города. Они густо дымили, горело все, что могло гореть. Река стала черной. Вставало черное утро. На стапелях возвышались громадные силуэты изуродованных недостроенных боевых кораблей. За рекою горели стога и хаты. Дым густо стлался далеко по степи, и кое-где вдали на уцелевших крышах уже можно было видеть фигуры немецких офицеров с биноклями у глаз.

Попробуй-ка — удержишься на торпедном катере на полном ходу. Если не умеешь балансировать, по-кавалерийски «держаться на шенкелях», будешь весь избит, можно и ребра поломать.

Так вот, катер моего приятеля, младшего лейтенанта Володи Ф. на полном ходу наскочил на мину — не нашли ни одной щепки, ну, хотя бы спасательный круг, — и этого не нашли.

Катерников подрывают снизу, бомбят сверху. А сами они живут в пещерах Херсонеса, очищенных от костей и остатков гробов первобытных христиан.

В Стрелецкой бухте стаями плавают оглушенная взрывами рыба. И тут и там покинутые хозяевами беленькие домики, по дворам бродят покинутые куры. Посмотри вокруг: это все не чужое — наше.

Люди, люди, люди... на улицах, на вокзалах, в казармах, на кораблях — всюду люди, ведущие войну. Роты, дивизии, армии. Все у людей переменилось, все переместилось. Беженцы, погорельцы. Вот когда изодня в день, ежеминутно ты всюду лицом к лицу с народом, с людьми. Лица, лица, лица... Не имеешь права быть «сам по себе», не должен, а нужно любить эти лица, эти бесчисленные толпы людей, прислушиваться, понимать. Всё в движении, в кочевье. Народ. Он громаден и в своей огромной массе бесстрашен перед смертью. Бесстрашен наш народ! Сколько раз я уже слышал от моряков: «Вот кончится война, сделаю то-то или то-то... Коль останемся живы». И это «коль останемся живы» так спокойно и просто, что кажется, он непременно останется жив.

— Мои братья воюют под Псковом, — говорит М. и добавляет задумчиво, — а, может, уже отвоевали...

М. получил письмо от родных из деревни из-под Пскова: эвакуируют женщин, детей и стариков. При этом чудно и толково расписывают, кому быть при чем: этот ведет корову и отвечает за нее, другой отвечает за инвентарь и т. д.

Батальонный комиссар З., москвич и «правдист» (очевидно, будет редактором нашего «Красного черноморца») рассказывает, как его мать-старуха, очень бережливая, работает на оборону:

— Что делаешь?

— Да вот шью варежки.

— Это для кого же, зачем?

— Для вас шью, подбирать зажигательные бомбы.

— Зачем же бархатные?

— Да теперь нельзя разбираться, все идет.

А прежде не дай бог заглянуть к ней в шкаф или в комод, наполненный лоскутками.

Ивич не получает писем от жены. Почему?

— Да у нее такой почерк, что никакой цензор не разберет, сразу заподозрит шифровку.

Вчера под Минной <гаванью> часов в десять, когда совсем стемнело, начался переполох: снова ловили какого-то подозрительного контр-адмирала. Этого легендарного контр-адмирала видят то там, то здесь, то днем, то вечером: «высокий, худой, а главное, без противогаза».

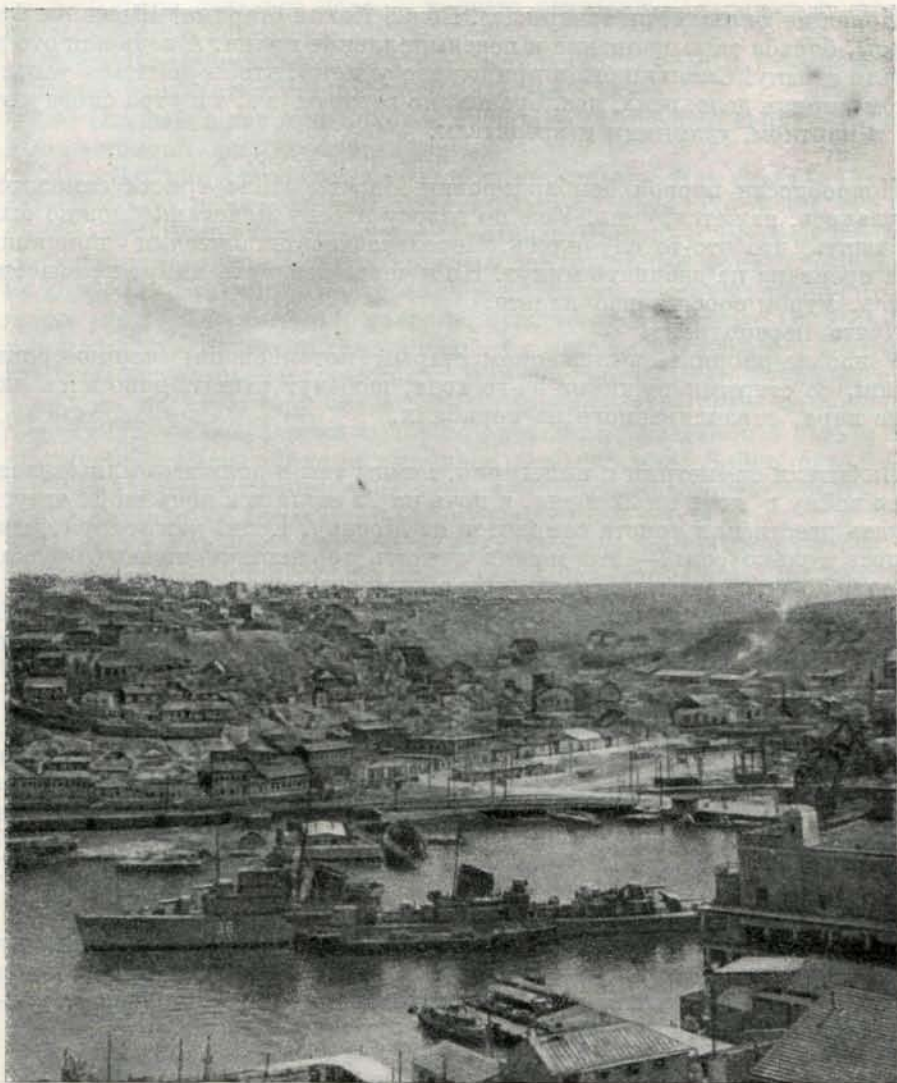
Фотограф «Красного черноморца» — в очках, в «кинематографических» брюках-бриджах. Через плечо — фотоаппарат. Когда он шагает, окруженный нашими командирами, его принимают за пойманного шпиона.

Ужас! Неужели это правда — ребенка за ноги и об косяк? Видели, как это делают немцы.

Что же это? Тоже организованность, дисциплинированность, исполнительность? «Нужно не только знать о пользе организации, чувство организации должно быть в крови. Этим чувством обладают немцы», — так говорят о них. Не надо, не надо такой исполнительности!..

Как удобно и выгодно управлять такими солдатами.

Пишем о героях. Но пишем собственно о технической стороне события: сколько герой сбил самолетов и как сбил, и считаем, что это уже хорошо. Неужели в наши дни героизм, которое, конечно, можно назвать массо-



СЕВАСТОПОЛЬ В ДНИ ОБОРОНЫ

Фотография, 1942

Центральный архив кино-фото-фонодокументов, Красногорск

вым, и есть только техника: верный глаз, твердая рука? Ведь вот, скажем, исторический севастопольский герой матрос Кошка — он по-русски сметлив и пытлив, в его характере хитринка, добродушие, широта. Видно, какими чертами характера он обязан своему героизму, а у наших ежедневных героев нет ни лица, ни характера. А один краснофлотец, рассказывает Ромм, переплыл Дунай, чтобы прервать у румын связь. Плыл ночью, стараясь не плеснуть. Благополучно вернулся. Это ли не матрос Кошка?

Институт комиссаров восстановили, и у комиссаров праздничное настроение. Шутя спрашивают друг у друга:

— Отец ли ты?

— А ты? Душа ли ты части?

Попал на фильм «Три товарища». Боже! Какая старина! Щемящие фокстроты, борьба за выполнение и перевыполнение плана. А ведь как это занимало страну! Сколько было приложено усилий, чтобы добиться успехов в этом мирном деле: река, лес, бревна, по вечерам уха, а с утра снова местом и партком, ударники и вредители.

Подробности первой бомбардировки Москвы. Шло триста самолетов, прорвалось, кажется, семь. Уже по голосу и тону Левитана* можно было заключить, что что-то случилось. Передача «по техническим причинам» была прервана на двадцать минут. Но и через двадцать минут не возобновилась. Утром сообщили о налете.

Почта переполнена.

У нас на дворежке, выложенном старым потемневшим черноморским камнем, со старыми пушками 54-го года, щебечут птицы, доносится шипение пара, стравливаемого на кораблях.

Любители симметрии и аллегорий, немцы так и должны были сделать: начав войну в ночь на 22 июня, в ночь на 22 июля и в ночь на 22 августа послать двести или триста самолетов на Москву. Если, как говорят, прорвалось только семь, — это можно считать торжеством нашего оружия, это должно успокаивать больше, чем обдуманые сводки.

Одни утверждают, что сбитые самолеты упали на Петровке, другие оспаривают: не на Петровке, а на Арбате. Пусть хоть к тиграм в вольеры зоопарка, все равно, пронзительно другое... шутка ли сказать: *над Москвой сбиты самолеты противника!*

Кто из соседей дежурит у нас на крыше нашего дома? Что у нас на Чистых прудах? В нашем малолюдном, а сейчас, вероятно, совсем затихшем Хохловском переулке? Кто вместе с Женей стоит сейчас у нашего широкого окна, всматривается в небо? Там буду не скоро. Но в Одессу, кажется, все-таки попаду, в бригаду полковника Потапова. Как-то будет — избежать к памятнику Дюка по знаменитой лестнице из порта... Но буду там... Буду...

Опять буря. Опять ночью сорвало с окон бумагу, шторы, всё, чем были затемнены окна. Внезапно среди ночи вспыхнул огнями наглухо затемненный город, но к счастью вражеская авиация не воспользовалась — продолжали бомбить нас ветер и дождь.

Вот понятный и уму и сердцу тип настоящего политического работника — старший политрук Панфилов: человеческие слова, человеческий голос, мысли и чувства, сознание долга, душевные порывы. В день начала войны он был в Ковно со своей семьей. Мог задержаться еще на один день и вывезти семью, это ему простили бы, но он уехал, оставив семью на попечение других, не мог допустить и мысли, что захват Ковно — дело нескольких дней. И теперь можно представить себе его страдания. Он почти не говорит об этом, но однажды, с трудом выговаривая каждое слово, голосом вдруг охрипшим сказал мне:

— Оставил их Гитлеру.

А в другой раз, ни к кому собственно не обращаясь, вдруг проговорил:

— Ах, как тяжело! Тяжело в это время остаться одному.

Нет, этот человек мне понятней, чем несокрушимый Танцюра или упорно-нахальный и «воинственный» С. Эти больше говорят о том, что оклад повышают на 25 процентов, а из Москвы ждут большую партию шоколада.

* Юрий Левитан — диктор Центрального радиовещания. В годы войны ему поручалось чтение правительственных документов, сводок Совинформбюро и т. п.

— Теперь ведь все дело — хорошо питаться, — с наивной убежденностью сказал Танцюра.

А вот К., журналист-футболист. Журналист, как убеждено наше редакционное начальство, образцовый. Этот мне сказал:

— Слушаю я вас и не похоже, что вы на войне. Всё какие-то отвлеченные разговоры, философствование.

А речь у нас шла о том, как нам нужно писать. Как сделать так, чтобы осторожность не переходила в засушливость? Речь шла о том, что нужно ближе, лучше, смелее, свободней чувствовать жизнь и уметь ее передавать. Вот, например, такой характерный и значительный факт: среди моряков на кораблях появилось настроение — проситься в армию, потому что здесь война «не такая», а армия, наверно, нуждается в подмоге. Об этом писать или не писать? Ведь это сама жизнь. А у него готовая формула: «Не давай трибуны вредным настроениям». Или вот вопрос: как лучше рассказать о моряке, по характеру человеку неуравновешенном, страдающем «партизанщиной», но безусловно храбром, дельном, полезном в любом боевом организме?... Разве война не вызывает размышления? Война не только действие, но и размышление. Для того, чтобы правильно действовать, нужно немало думать. И полагаю, именно этого от нас ждут.

А этот журналист-футболист, главная сила которого в ордене, полученном в Финляндии, может, и есть хороший командир, но, согласимся с ним самим, плохой философ. Да что он и умеет! Его идеал журналистики — «литературный портрет», потому что сей литературный портрет сохраняет шансы впоследствии попасть в какой-нибудь сборник. Об этом обо всем — и о том, что и теперь он иногда играет за команду «Динамо», и о том, что не потерял способности выпить пол-литра водки, и о том, что за время войны он безусловно соберет комплект «литературных портретов» для отдельного сборника, — обо всем этом тов. К. беззастенчиво и наиздадельно говорит... Вот уж действительно, если бог хочет зло пошутить, то он дает глупцу орден.

На летучке в редакции я критиковал редактора (заместителя нашего главного редактора), без чувства меры правившего мою статью. Я говорил о том, как увлечение красивым словом может испортить дело. Тов. Ю., правивший статью, может быть, из опасения недооценить достоинства того командира, о котором я писал, пустил в ход убедительный и щедрый эпитет. Читаю свою статью и вижу — написано: «... высокая требовательность к людям...». Буквально через три строки опять: «... воспитывает у них высокую ответственность». Еще через несколько строк снова: «Высокая требовательность». Далее: «Добивается высокой натренированности личного состава». Далее: «Высокий пример выполнения уставов и приказов» и т. д.

Тов. Ю. — человек тихий, трудолюбивый, симпатичный, но, что поделаешь, никто другой не говорит об элементарных требованиях к языку газеты, как избегать засушливости, как говорить о «высоких» примерах воинской доблести без лишних пышных слов? Вопрос назревший и очень важный. Мое замечание, думаю, не пройдет без пользы для дела. Пришлось сослаться и на другие примеры. И вижу, что мое выступление не понравилось. Тут, в редакции есть группа людей, кадровых работников, которым вообще не нравится наше активное участие в работе газеты. Им не нравится и директивное покровительство литераторов-профессионалов, и, как мне кажется, действительная симпатия к «варягам» главного редактора «Красного черноморца» тов. Мусьякова. А мы — сила теперь солидная! За редакцией «Черноморца» и за Политическим управлением ЧФ числятся прибывшие в разные сроки (кроме тех, кто вместе со мною работал здесь еще до 22 июня по истории кораблей ЧФ): Саня Ивич, Женья Чернявский,

Лева Длигач, Толя Луначарский, Лазарь Лагин, Александр Ромм, Август Явич, Ян Сашин, наш «старик» Василий Дмитриевич Ряховский, художники Леся Сойфертис, Решетников, Дорохов... Да, еще Гайдовский! Петр Сажин!

Гайдовский, Длигач, Лагин, Сашин тяготеют к редакции «Черноморца» и зачислены в штаты, за редакцией числятся, кажется, и художники. Другие расписаны по родам войск, частям и кораблям. Приезжают к нам и «москвичи» вроде Симонова, работающие в центральных газетах. Мы завидуем им, они завидуют нам. Нам кажется, что они много видят, свободны в своих поездках, а главное могут писать в хорошие газеты широко и свободно. Приезжие видят в нас «черноморцев», завидуют возможной сосредоточенности нашей работы. На эскадре живет еще Александр Зонин, элегантный и красивый человек, «аристократичный» в нашем представлении хотя бы тем, что дружит с адмиралом Владимирским, командующим эскадрой; его резиденция — на линкоре.

На днях Дорохов, пристроившись на бульварной скамейке, рисовал линкор с натуры. Его арестовали, заподозрив в нем шпиона, и привели в штаб. После этого художникам для их работы отвели какую-то комнатку на водной станции, откуда они могут рисовать вид на севастопольские бухты и корабли без особого риска.

Художники и поэты (Лева Длигач, Ян Сашин, «черноморцы» Баковиков, Сальников) придумали в «Красном черноморце» веселый отдел юмора и сатиры под названием «Рында». Сначала были большие сомнения, как отнесется начальство, как встретят эту «Рынду» в дни войны, особенно колебались, печатать ли «Новые похождения солдата Швейка»? — не оскорбит ли это национального чувства чехов, знает ли краснофлотский читатель этого литературного героя, правильно ли поймут его второе рождение в эти дни, не покажется ли это мелким?

Приятно видеть, что затея удалась. И больше того: на днях нашу черноморскую «Рынду» передавали по радио из Москвы.

К моему удивлению, и у меня взяли кое-что «смешное», и так странно было слышать эту передачу из Москвы, эти слова и хохмы, придуманные здесь, в нашей маленькой редакции. Особенно удачными получились удары рынды у Сашина, у Левы Длигача, у Лагина... Но ведь они записные юмористы, а я «рындач» случайный...

Появился мой материал в «Литературной газете». Просят еще. Это очень приятно. Не даром едим краснофлотский хлеб.

Особенное это чувство подчинения тому или другому начальству, но мы стараемся, а угодить не всегда легко. Тут очень уместно хорошее чувство юмора, хотя бы с одной стороны. Очень помогает.

А между тем обнаружили и такие среди нас служаки, которым это даже нравится, доставляет удовольствие докладывать или рапортовать на вытяжку, есть глазами начальство. Ей-богу, не уверен, что нашему брату это так уж и нужно! И все нащупывается какая-то средняя линия, ведь даже и у адмиралов нет опыта на этот счет. Хорошо Владимирскому с его другом-приятелем Зониным, просто и Зонину с Владимирским в адмиральской каюте, а вот уж каково Владимирскому со мной и мне с Владимирским даже в кают-компании? А ведь командующий эскадрой едва ли не самый интеллигентный на эскадре человек.

При каждой встрече с полковым комиссаром, начальником отдела Политуправления тов. Кремневым, которому поручено попечение и непосредственное руководство нами, пристаю с вопросом: «Когда же отправите в Одессу?» Но он все что-то выясняет и улыбается. Мы чувствуем взаимную симпатию. Во всяком случае мне этот человек приятен своею не-



СЕВАСТОПОЛЬ В ОГНЕ

Фотография А. С. Соколенко, 1942

Собрание А. С. Соколенко, Ростов-на-Дону

торопливостью, аккуратностью, хотя и он чем-то напоминает тренера солидной футбольной команды. Все-таки это тренер хороший, интеллигентный, он почти всегда с книгой, а такие тренеры редкость — нет, нет, тут выбор удачный.

Одесса! Милый мой город! Если не Москва, то хотя бы Одесса! Уже приходят оттуда транспорты и тральщики с ранеными, и я видел, наконец, военнопленных. Но это были какие-то хилые, понурые румыны, может быть, просто молдаване из-за Днестра, пропахшие дымом своих излозниц. Признаюсь, я не увидел в них тех врагов, о которых все мы думаем.

Скорей бы решался этот вопрос с командировкой.

После того, как я критиковал в «Красном черноморце» язык газеты и говорил о том, что газета недостаточно энергично меняет прежние мирные привычки работы, в редакции на меня дуются, тов. Ю. даже отворачивает от меня физиономию, ей-богу, неловко. Редактор «Красного черноморца» тов. Мусьяков, человек старательный, восприимчивый и простодушный, знал меня еще в прежние времена, когда сам был помладше, а я приезжал на Черноморский флот в качестве столичного журналиста, корреспондента «Красной звезды». Он относится ко мне неплохо и даже, кажется, защищает меня в глазах других, хотя и считает меня человеком «важным и сердитым». Поговаривают, что Мусьякова заберут в Москву, на его место редактора флотской газеты готовится приехавший из «Правды» тов. З.—орешек, кажется, не простой, не любящий чувствовать рядом людей «важных и сердитых».

Имущество и драгоценные экспонаты музея Севастопольской обороны начали перевозить в пещеры Георгиевского монастыря на мысе Фиолент. Ездил туда. Тишина. Аллеи. Древний камень. Между деревьев, за густой темной зеленью спокойное вечное море, всегда особенная синь.

По дорогам много грузовиков с женщинами и детьми, семьи начсостава, эвакуируемые из Севастополя. Говорят, в Ялте, в Феодосии, Керчи женщины целые дни стоят, прижавшись к своим детенышам. Чуть машина — «Откуда?» — «Из Севастополя». — «Ну, как, ну, что? Верно ли, что была такая бомбежка, что теперь уже не пройти по городу?» И какой-нибудь баталер, из тех, что на баталерке рубят мясо, начинает нарочно городить вздор, а те: «Ах, ох!»

Разговорился с чистильщиком сапог. Щетки мелькают, он говорит:

— Воюете, а не знаете, что такое немец.

— Но почему же не знаем?

— Их знаем только мы, караимы: в 1916 г. кто научил резать караимов? Немцы научили турок резать караимов.

— Так. Сколько с меня?

— Ничего.

Все-таки заплатил ему, он догоняет, кипятится:

— Если уж хочешь заплатить, так плати по тарифу: теперь война.

Раненые в лазаретах оставляют отрадное впечатление. Общий голос такой: ничего сверхъестественного! И мы уже подобрали к ним ключ.

— У немцев много металла и огня. Но наша артиллерия действует точнее.

Тактика: пропускать вперед, бить по частям, отсекая танки от пехоты. Если это не удастся, танки уходят далеко вперед.

Ведь все дело — там! Какая тут сейчас война? Уже даже забывают вовремя затемнять окна.

Шемят сердце: вчера «Двинское направление», сегодня «Островское».

Вывезены шпага Нахимова, знамена и флаги. Осиротелые — стоят в зале «Силистрия» и «Три святителя» — модели трехдечных кораблей величиною в хорошую телегу. Дворничиха развешивает на рейках подштанники.

Бойцу оторвало ногу. Уже должно быть мертвого его повезли в госпиталь. Товарищ схватил оставшуюся ногу и бежит вдогонку:

— Нога... А нога... Вот же его нога.

— Да оставь ее, что ты ею размахиваешь!

Невольно думаешь, что Гитлер прав в своих утверждениях по поводу толпы, массы. Как же иначе могло случиться, что десятки миллионов немцев пошли за этим козлом?

Тимирязев когда-то писал: «Успех в борьбе настолько же зависит от материальной силы и умственного превосходства по отношению к врагам, как и от нравственных качеств по отношению к своим... Общество эгоистов никогда не выдержит борьбы с обществом, руководящимся чувством нравственного долга. Это нравственное чувство является даже прямой материальной силой в открытой физической борьбе. Казалось бы, что человек, не стесняющийся никакими мягкими чувствами, дающий простор своим зверским инстинктам, должен всегда одолевать в открытой борьбе, и, однако, на деле выходит далеко не так».

Как радостно и утешительно вспомнить эти мысли! Да ведь в сущности и все народные сказки и легенды говорят о победе чистых душою над хищниками и злодеями, какою бы они ни были физической силой.

Дежури́м на крыше штаба флота. Всю ночь то там, то здесь вдруг вспыхивают лучи прожекторов, качаются, шарят, скрещиваются, вторгаются в чудную спокойную звездную ночь.

Танцюра получил письмо от товарища, командированного в Москву, который уехал вместе с тенором, артистом Большого театра. И вот что случилось: тенор тоже дежурил на вершине своего Большого театра и во время отражения немецких бомбардировщиков был смертельно ранен осколком от нашего зенитного снаряда.

Снова буря. Еще одна, третья апокалипсическая ночь. На этот раз в тучах шли немецкие бомбардировщики. Все вспыхивало, все гремело и ревели — и на земле и на небе. Это было страшно. Впечатления той ночи на 22 июня, когда началась война, бледнеют перед этим.

А что было тогда? Какая невероятная давность, какие невероятные дела!

Закончились большие маневры флота. Вся эскадра опять стала в бухтах и на 21-е, это кажется была суббота, был назначен бал в Доме флота (бывшее Морское собрание). На улицах вечером было празднично, к Интернациональной то и дело подходили катера, и толпы краснофлотцев торопились на бал и концерт.

Я на другой день должен был ехать в Феодосию, в Коктебель, где ждала меня Женя. Все было ясно, радостно, празднично.

Я на концерт не пошел, раньше лег спать. Второй месяц я жил на крейсере «Червона Украина» — писал историю корабля, работа была закончена, я не отстал от других, занимавшихся историями других кораблей и частей.

Я не обратил внимания на разговоры в кают-компании о том, что бал преждевременно и как-то тревожно прерван, команды вернулись на корабли раньше времени.

Среди ночи я проснулся от шума. Было такое впечатление, что на корабле боевая тревога. Над головой по броневой палубе стучало много сапог, пробегали люди по коридору. И в самом деле — слышались выстрелы, залпы. Я выглянул в иллюминатор.

Ночь была теплая. У борта плескалась вода, а дальше на кораблях и на берегу вспыхивали залпы, все гремело, и прямо над «Червонной Украиной», довольно низко, в лучах скрестивших прожекторов я увидел самолет. Прожекторы сделали его светлым, белым, ярким и на фюзеляже и снизу на крыльях я увидел знаки свастики.

Я сразу все понял, но не смел об этом думать.

Быстро одевшись, я выбежал на палубу. Вокруг — куда ни глянь — все стреляло, по всему небу качались и путались лучи прожекторов.

— Что это?

Кто-то столкнулся со мной и проговорил:

— Маневры, что ли, а может быть война.

К рассвету на корабле стало известно, что самолеты сбросили множество мин — в бухту и на берега, но все еще никто не позволял себе с уверенностью сказать: война.

С первым катером я пошел на берег.

— Бегите на базарчик — увидите, что там наделали...

— Но кто же? Чьи были самолеты?

— Немецкие.

В районе базарчика, на улице Щербака я увидел первые незабываемые разрушения войны. Тут упали немецкие мины. Замысел был в том, чтобы минами забросать бухты, но несколько мин упало и на берег.

Из стен разрушенных домов были выброшены кровати, утварь, детские игрушки. Убитых и пострадавших уже убрали. Бродила кошка.

Жизнь города начиналась, как всегда. Открылись парикмахерские. Я зашел в парикмахерскую на Ленинской, и в то время, как меня брили,

включили радио, и все мы услышали речь, не оставляющую сомнений в том, что произошло и что началось.

Это началась война.

Вскоре все мы, москвичи, захваченные здесь ею, обзаводились вещевым довольствием в штабной каптерке. Молодой веселый каптенармус обращался с нами довольно насмешливо, и мы, сопя, подбирали по росту кителя и шинели, а главное — фуражки первого срока.

Но, думается мне, не тогда я был зачислен в кадры Черноморского флота, когда с любопытством к самому себе надел черную фуражку с эмблемой морского командира и задорно посмотрел на веселого каптенармуса, а, право, тогда, когда на разрушенной улице Щербака среди развалин я увидел маленький парусный кораблик со сломанной мачтой.

Кораблик взлетал бугшпритом кверху и кренился на самом гребне щебня, как на волне, как бы несомый дальше этим жутким каменным шквалом — с повисшим парусом, один, без своего недавнего капитана.

Только кошка, жалобно мяуча, ходила возле и обнюхивала его.

Я подобрал кораблик и решил беречь. Буду беречь его и дальше, потому что именно в тот момент я сильно почувствовал, что во мне существует воля, способная противостоять этому шквалу. Я почувствовал тогда *необходимость* беречь эту свою силу, беречь в чистоте и готовности, — только это даст мне потом радость, потом, очень потом, когда действительно «уже не будет войны»... О, как хорошо тогда будет!..

Все будет тогда, а сейчас так нужно, так необходимо письмо из Москвы и командировочное свидетельство на Одессу.

Сентябрь.

К Одессе мы подошли ночью. Сбавив ход, приближались к повороту.

Справа от нас, в районе лиманов, вспыхивали быстрые зарницы пушечных залпов, наблюдались взрывы, пожары, чернильно-синее небо прочерчивали цветные трассы огня...